

The background of the poster is a dark, atmospheric scene. In the foreground, a white marble bust of a young man's head is shown in profile, facing left. The bust is set against a vast, dark desert landscape with sand dunes that have fine, rhythmic ripples. In the distance, a cityscape with tall buildings is visible, appearing to be partially submerged or rising from the dunes. A lone figure in a white, hooded robe is walking away from the viewer across the dunes. The overall mood is mysterious and dreamlike.

—АЛЕКСАНДР ПИРАЛОВ—
ДЯДЯ КАТЯ

или
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Александр Пиралов
**Дядя Катя, или Сон
в зимнюю ночь**

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2019

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)

Пиралов А.

Дядя Катя, или Сон в зимнюю ночь / А. Пиралов — Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ", 2019

Блуждая между любовью и псевдолюбовью, между обожанием и завистью, между двумя сыновьями, одного из которых ему не удалось увидеть живым, он ушел из этого мира одиноким и не понятым и, только пройдя через Высший суд, обрел надежду на успокоение.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)

© Пиралов А., 2019
© Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2019

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Александр Пиралов

Дядя Катя, или Сон в зимнюю ночь

© Пиралов А., 2019

© Оформление. ООО «ИТД “Скифия”», 2019

* * *

Моей дочери Тамаре

«...мы принуждены основываться на показаниях одних только наших чувств, и мы спрашиваем себя, перед лицом этого единичного и ни с чем не связанного воспоминания, не сделались ли наши чувства жертвой галлюцинации...»

«...в любви нужно страшиться не только будущего, как в обычной жизни, но также прошлого, часто приобретающего для нас реальность лишь после будущего, – мы говорим не только о прошлом, которое нам становится известно впоследствии, но и о том, которое мы давно хранили в себе и которое вдруг научаемся правильно читать».

Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени»

Глава 1

Меня зовут Катерин.

Когда моему батюшке, коему я обязан этим именем, заметили, что сына так называть не следует, он хихикнул, а потом сел за пианино и взял несколько аккордов из «Катерины Измайловой». Не берусь судить, те ли самые аккорды вызвали знаменитую передовицу¹, но сумбура в моей жизни они породили немало. Впрочем, об этом ниже.

Свою выходку папаша объяснял правом на родительское творчество и... логикой. Если есть Валентин с Валентиной и Александр с Александрой, спросил он, то почему не могут быть Катерина с Катерином? Что касается матери, то она умерла спустя две недели после того, как я был явлен миру, и назвать папашу идиотом уже не имела возможности. Так я и остался Катерином.

Папаша был скрипачом в симфоническом оркестре, слыл за малахольного, и моя бабушка по матери, Серафима Алексеевна, пока я пребывал во младенчестве, не допускала его ко мне почти на пушечный выстрел. Бабушка Сима была человеком с ярко выраженным собственным мнением, и мне непостижимо, как она допустила, чтобы я был наречен женским именем, хотя, полагаю, она и сама считала это собственным упущением, строя соответствующую политику по отношению к зятю.

А тому того и надо было. Спустя полгода от начала вдовства он основательно закрутил с альтисткой из того же оркестра и даже однажды привел ее в дом. Это переполнило чашу терпения бабушки, которая залпом влетела к отцу, заявила, что отныне лишает его всех родительских прав, что ребенок будет жить исключительно у нее и только ей отныне решать, когда и главное где ему можно будет видеть сына. Папаша пожал плечами, информировал экс-тещу о беременности альтистки, получил табуреткой по лбу и был отлучен от меня навсегда. По крайней мере, теоретически...

В то время бабушка была в начале четвертого десятка, очень даже недурна собой и еще вполне могла устроить свою жизнь. Но эта жизнь – с того самого дня, когда родитель в полной мере оценил табуретку как орудие тещи, – была полностью отдана внуку. Бабушка стала мне и отцом, и матерью, и вообще наставником по подавляющему большинству вопросов, в том числе и не житейских, хотя сама образования не получила, работая то воспитательницей в детском садике, то учительницей рукоделия в школе.

Вышла она из среды московских мещан и была крещеной еврейкой. Прадед мой, несмотря на то что служил простым бухгалтером, имел огромную квартиру в Староконюшенном переулке и мог позволить себе наградить дочь за золотую медаль, с которой была окончена гимназия, поездкой в Италию. В поезде бабушка познакомилась с молодым бородатым и смуглым красавцем, ехавшим туда же учиться живописи, и на вокзале в Риме они поклялись друг другу не расставаться. Как ей удалось утрясти это с родителями, мне неизвестно, только оттуда они отправились в Неаполь, где им удалось снять комнатку в мансарде.

Над моим изголовьем висит картина деда, где бабушка изображена сидящей в этой мансарде на подоконнике – в полупрофиль, обхватив руками колени. Картина насыщена зрелой истинно мужской чувственностью, но вместе с тем и до краев наполнена юношеской нежностью, интимностью, какой-то слишком целомудренной, почти непорочной. Будто бы была как бы два в одном и не вписывалась ни в одну из его творческих концепций. Хотя бабушка очень скупой рассказывала о том периоде своей жизни, тем не менее я едва ли не с детства верил, что это были их самые счастливые дни, ибо такое полотно под тяготами невзгод было бы просто неподъемно. Позже она подтвердила сама – так, собственно, и было.

¹ Речь идет о редакционной статье в газете «Правда» от 28 января 1936 года с резкой критикой этой оперы.

Из того, что рассказывала бабушка, я сообразил, что образ их жизни был таков: дед сидел перед холстом и работал до изнеможения, а она варила ему кофе и жарила каштаны. Дед был неприхотлив в еде и вполне довольствовался блюдом, которое было, по существу, изобретено. В отваренные и политые оливковым маслом спагетти она бросала мелко нарезанные помидоры, огурцы и слегка поджаренную нарезанную паприку. Когда были деньги, туда добавлялись и кусочки тушеной телятины. А поскольку деньги были нечасто, обходились без мяса, и дед по такому делу вовсе не роптал.

В то время они венчаны не были, и как она однажды выразилась – «им это тогда было не особенно нужно». Замечание вполне в ее стиле, поскольку она любила бросать вызов нормам общественной морали, и если подворачивался случай, никогда его не упускала. Картины деда почти не покупались, а жить довелось за счет... литературных гонораров, получаемых из местной русскоязычной газеты. Над этим можно смеяться до изнеможения, но что было, то было.

Дед строчил рассказы и выдавал их за переводы с английского, французского и даже норвежского. Если бы он пытался публиковать свои опусы под собственной фамилией, то их бы просто не печатали, поскольку его имя никому ничего не говорило. А тут были «переводы» маститых литераторов, и редактор охотно брал дедову стряпню, и что самое удивительное, такая химера, как авторские права, похоже, никого тогда не волновала. Бабушка аккуратно клеивала вырезки в альбом, который сожгла в тридцать седьмом, когда пошли говорить, что деда вот-вот должны арестовать. Она назвала это вандализмом и не могла простить себе до конца своих дней.

В конце концов они таки обвенчались, но только после того, как родилась мама и надо было возвращаться домой. Собственно, домом для них был особняк моего прадеда, который владел сетью бакалейных лавок во Владикавказе, а потому как дед, будучи верным сыном своего народа, и слышать не хотел о том, чтобы жить в семье жены, выбора у бабушки не оставалось. По пути домой он просил сказать родителям, что она армянка. Поверить в это было проще простого, поскольку бабушка была необыкновенно хорошенькой смуглянкой, и ее наверняка приняли бы за армянку, тем более что это было горячим чаянием всего семейства.

– Нет, Артур, лгать не буду, – ответила бабушка. – Если не ко двору окажусь, уеду тотчас же.

Во Владикавказе их встречали зурначи и двадцать фаэтонов, вместивших огромную родню, а главное всю свору погосовских тетушек, сгоравших от нетерпения увидеть невестку. Бабуле подфартило особенно: она оказалась рядом с колченогой теткой Воскинар, принадлежавшей к числу тех въедливых старых дев, которым не терпелось сразу же дойти во всем до самой сути.

– Вы армянка? – с кривой улыбкой спросила она бабушку, терроризируя лазерами глаз.

– Нет, – последовал ответ.

Тетка смолкла и больше не проронила ни слова.

На пиру в честь приезда сына и его жены глава семьи Богдан Погосов предложил тост за дочь, о которой мечтал всю свою жизнь. Воскинар свой фужер даже не пригубила.

У старика было четыре сына и ни одной дочери. Мой дед был младшим в семье и женился последним. Как признался однажды бабушке сам бакалейщик, она была любимой невесткой, хотя не исключено, что это же им было сказано и трем остальным. Во всяком случае, она не извлекла никакой выгоды из того, что ходила в любимицах. И как не просил ее старший Богдан уговорить сына не уезжать, обещая оставить ему все лавки, дед вместе с семьей спустя год уехал в Баку к среднему брату Семену, поскольку дела для себя во Владикавказе не видел, а торговля была ему совершенно чужда.

Наверное, было бы лучше, если бы он все же хоть немного, хоть чуть-то, да симпатизировал ей, ибо ему на родине так и не удалось продать ни одной своей картины, за исключением заказанного музеем полотна «Сталин на нефтяных промыслах», о котором, по рассказам

бабушки, говорил с кривой улыбкой. В ту пору боготворимая им живопись спросом не пользовалась, а другой он не признавал. Зарабатывал преподаванием в художественном училище и школе. Говорят, был прекрасным учителем, и его ученик, который вел рисование в школе, где учился уже я, не осмелился поставить мне итоговой тройки, хотя такая оценка была бы самой справедливой, ибо природа, словно издеваясь надо мной, наделила меня способностями только малевать.

Он умер за месяц до моего рождения. Как бабушке удалось пережить смерть мужа и дочери в течение одного месяца, знала лишь она, однако единственное разумное объяснение состоит разве лишь в том, что смысл жизни она обрела отныне во мне, и, видимо, оттого так яростно сражалась за меня с папашей.

Я знал о деде только по рассказам – ее и двоюродного деда Семена, в доме которого братья устроили мастерскую, ставшую впоследствии чем-то вроде рукотворного музея, куда крайне редко забегали ученики, коих было немало. Они наскоро разглядывали полотна, восхищенно цокали языками, разводили руками, сетуя по поводу того, что такой талант не оценен, и обещали поспособствовать, забыв об этом сразу же, как только выходили за порог дома.

Картины просуществовали с полвека, пока не сгорели в пожаре.

Я расскажу об этом ниже, а пока замечу, что бабушка, к счастью для нее, не видела, как погибли картины художника, которого она боготворила. Судьба избавила ее от горчайшей чаши. Она действительно считала деда выдающимся живописцем, чье время непременно придет. Час триумфа не наступил, и дед так и остался чудаком, бегающим по округе с мольбертом и этюдником. Тем не менее бабушка подвижнически служила ему, считая целью своей жизни создать условия для творчества своему гению. О себе она забывала.

Три картины деда еще долго продолжали храниться в музеях, три или четыре – в частных коллекциях, что до итальянского портрета, то я всякий раз восставал против его размещения где бы то ни было. Бабушка тоже не хотела с ним расставаться, хотя ей многие пеняли за то, что пронизанное чувственностью полотно висит над изголовьем ребенка. В ответ она хохотала и упрекала оппонентов в ханжестве. Пусть, мол, привыкает. Во всяком случае, в вашем возрасте он уже не будет говорить такие глупости.

Я же полотна стеснялся, хотя временами бросал в его сторону любопытные взгляды, правда, тотчас же отводил глаза, ибо в этой картине было нечто таинственное, пугающее, от чего вдруг начинало щемить под ложечкой, и в то же время очень, очень сладкое.

Однажды сквозь щели в заборе я видел, как в соседском саду купали Жанну, мою одиннадцатилетнюю соседку, с которой я часто играл в салки. Они с мамой стояли спиной ко мне и, видимо, не чувствовали, что за ними подсматривают. Я впервые видел обнаженную девочку, но это оставило меня совершенно равнодушным, словно перед глазами у меня было нечто неодушевленное, лишенное индивидуальности.

С портретом было все иначе. Он представлялся мне едва ли не живым. Казалось, еще несколько минут и бабушка сойдет с картины и предстанет передо мной во всем великолепии своей наготы. В моих глазах сразу начинали вертеться причудливые образы, в символике которых я всякий раз пытался разобраться, и когда мне чудилось, что еще мгновение и я все пойму, раздавались шаги бабушки реальной, телесной, и я тотчас же бросался в кресло с «Пятнадцатилетним капитаном»² в руках.

Она ходила почти бесшумно, не топала и не шаркала, а словно парила в нескольких миллиметрах от пола, будто большой белый эльф, и вообще мало чем походила на классический образ бабули с пучком седых волос на затылке и в старомодных очках на испещренном морщинами лице. Волосы у нее были действительно с проседью, однако при этом мягко, серебристо и очень романтично ниспадали на плечи, и, любуясь ими, я неизменно забывал о ее седине.

² Роман Жюль Верна.

С возрастом она не оплыла, а, напротив, сумела сохранить изящность фигуры, так точно запечатленной дедом на моем любимом холсте.

На современном языке то, что открывалось моим юным глазам на полотне, зовется сексапильностью и как всякое точное определение теряет очарование запретного плода. У нее была не по годам высокая грудь и упругие, пружинистые ноги, что позволяло ей сохранить молодую осанку, а пунцовые строго очерченные губы были еще способны сводить с ума мужчин. Когда она улыбалась, то принимала совсем иной облик, скорее *la femme fatale*³; ей всегда удавалось сохранять некую недосказанность, сопровождавшая ее на каждом шагу улыбка же эту недосказанность превращала в неразгаданную тайну. Но прелестнее всего в этом облике была, как не странно, небольшая, похожая на звездочку родинка над верхней губой, придававшая ей необыкновенно озорной вид, который мог быть и сладостен, и властен. И чем старше я становился, тем лучше понимал своего деда, особенно в ту минуту, когда они с бабушкой впервые увидели друг друга.

Но надо было пройти по меньшей мере четырем десятилетиям, чтобы я окончательно понял, что именно она пробудила во мне чувственность, хотя грех было бы жаловаться, что прекрасный пол обходил меня своим вниманием. Напротив, пройдя многочисленные рифы, которые таит в себе средний возраст, я – в отличие от многих других мужчин, в конце концов ставших либо женоненавистниками, либо волокитами, – сумел сохранить истинную признательность женщинам за все, что они подарили мне. Благодаря ей!

Когда она входила в комнату и видела меня с книгой, то обычно взъерошивала мне волосы, а потом интересовалась, что я читаю. Она руководила моим чтением и очень этим гордилась. Любимым ее писателем был Чарльз Диккенс, к Жюлью Верну, которым я в ту пору увлекался, она относилась с прохладцей, а за «Пятнадцатилетнего капитана» вообще пеняла. Но на сей раз я опередил ее и осмелился наконец задать вопрос, который несказанно мучил меня, рождая чувства, которые я был не в состоянии ни постичь, ни объяснить...

– Ба, почему дедушка нарисовал тебя голой?

Сейчас я ни за что не употребил бы слово «голой», поскольку в нем есть что-то грубое, особенно по отношению к такой женщине, как бабушка, и употребил бы другое, нейтральное и чистое – «нагой». Но в ту пору я, заурядный акселерат, не придавал значения тонкостям, особенно чувственного толка, и хвала ей и за понимание, и за тончайшую деликатность.

Некоторое время она пристально разглядывала меня, потом ответила вопросом:

– А почему тебя это интересует?

Теперь задумался я.

– Тебе же, наверное, было стыдно?

Она улыбнулась. Улыбка у нее была тоже очень мягкой, и в ней было еще что-то, чего я тогда не понимал.

– Нет, Катенька, мне не было стыдно.

– А почему?

Бабушка изучающе разглядывала меня, будто пыталась найти самые понятные слова, но, видимо, так и не нашла их, поскольку сказала просто:

– Потому что я любила твоего дедушку.

Простота не всегда ясна сразу. Я подумал о том, что люблю Жанну, и однажды даже сказал ей об этом, и она ответила, что любит меня тоже, и потом задался вопросом: было бы ей стыдно, если бы я рисовал ее голой? И был уверен, что было бы.

Спустя несколько дней мне представилась возможность усомниться в этом. Жанна встретила меня на улице и некоторое время рассматривала молча и с укоризной.

– Зачем подсматриваешь?

³ Роковая женщина (*фран.*).

Я чувствовал себя карманным воришкой, которого поймали за руку.

– А ты видела?

– Да, и мама видела.

Я молчал и не знал, что сказать.

– Если ты меня хочешь увидеть голой, – продолжала она, – то приходи завтра днем к нам в сарай, и я разденусь...

Мне было очень не по себе, но я все-таки пришел, и Жанна разделась. Я в растерянности, битый сладкой дрожью, отводил глаза, чувствуя, что еще мгновение и сгорю, а она попеременно отходила назад, забегала вперед, поворачивая то чуть вправо, то чуть влево, усиленно стараясь оказаться в фокусе моего взгляда и поминутно наталкиваясь на ржавые ведра и гнилые доски.

– Так смотри же на меня. Я не хочу, чтобы ты подсматривал за мной...

– Почему?

– Потому что я люблю тебя и буду твоей женой.

– Тебе было бы стыдно, если бы я рисовал тебя голой?

– Нет.

Эти слова потрясли меня, и не столько своей уверенностью, сколько подтверждением сказанного бабушкой, хотя мне все равно не ясно было, почему не стыдно демонстрировать себя голым даже тому, кого любишь. Я был ужасно самолюбив и уже твердо переходил в тот возраст, когда жизнь задает загадки одна неразрешимей, и главное более коварной, другой, и от того, что Жанна знала ответ хотя бы на одну из них, чувствовал себя скверно.

В тот день бабушка не переставала наблюдать за мной, да я и сам чувствовал, что выгляжу так, будто получил двойку в четверти (в ту пору отметки, которые ставят в школах, служили мне мерилем всех мерил). А она улыбалась загадочно, будто чему-то своему, и только уже перед сном спросила:

– Ты сегодня виделся с Жанной?

Я отмолчался.

– Виделся, правда?

И не дождавшись моего ответа, продолжила с той же настойчивостью:

– Она красива?

Мне этот вопрос был не совсем ясен. Мы втроем встречались чуть ли не каждый день, и у нее самой была масса возможностей оценить, красива ли Жанна.

– Хорошо, молчи. Мне было интересно, что думает мой внук... Жанна действительно красивая девочка, а ты, взрослея, становишься все более похожим на деда. Чудеса!..

– Ну и что?

Я продолжал не понимать.

– А то, мой милый, что спустя несколько лет ты будешь зеркальным отражением того молодого человека, которого я впервые увидела в поезде и полюбила безоглядно. Мне не хотелось бы дожить до того дня, когда ты станешь его двойником.

Но она дожила. Мне было двадцать...

Мы с Жанной учились тогда на фортепианном отделении консерватории и мечтали выступать дуэтом. Готовили к студенческому капустнику кое-что из Рахманинова, репетировали в свободных классах, когда выпадала возможность, и возвращались поздно.

Когда мы вошли, бабушка уже стряпала на кухне и, увидев нас, схватилась за сердце и уронила кастрюлю. Мы бросилась на помощь, но она почти незаметным жестом попросила остановиться.

– Жанна, мне хотелось бы побыть с внуком одной.

После того, как Жанна ушла, бабушка взяла меня за руку и посадила на диван. Я хотел, кажется, что-то сказать, но ответом мне был приложенный к губам палец...

– Молчи... ни слова... молчи.

Потом начала пристально всматривалась в меня, будто впервые видела, а крупные слезы, не переставая, текли по ее щекам.

– Артур, как же долго я ждала тебя...

Поначалу я не сообразил даже, к кому она обращается. Пытался заговорить, но она прикрыла мне рот рукой.

– Как долго, любимый...

Потом на несколько минут смолкла. И вдруг заговорила, почти шепотом, умоляюще:

– Я знала, что ты придешь. Ты ведь возьмешь меня с собой, правда?

Замолчала опять. Казалось, очнулась после транса. Встряхнулась. Поднялась.

– Мне надо побыть одной, Катенька. Ступай к себе. Прости, что обеда нет. В холодильнике найдешь что-нибудь.

И ушла, тихо затворив дверь.

Я стоял, словно прибитый гвоздями к полу. В голове был полный сумбур, роились невнятные, мягкие и бесформенные, словно вата, мысли, одна нелепей другой, а единственное, что было мне ясно, казалось полнейшим бредом. Она приняла меня за деда, который умер два десятилетия назад. К тому времени из головы моей давно выветрились ее слова, что ей не хочется дожить до того дня, когда я стану двойником ее мужа. Но теперь они вдруг возникли будто сами по себе, как бы из небытия.

Я подошел к зеркалу и долго смотрел... на своего деда?

Все это мне казалось в лучшем случае галлюцинацией. И как не старался выбросить из головы слова бабушки, факт оставался фактом. Для нее я существовал в двух ипостасях. И не догадывались – ни она, ни я, – что и любовь моя будет двулика. А о приближении ТОЙ НОЧИ даже предположить не могли...

Чтобы как-то прийти в себя, я вышел на крыльцо и тут увидел Жанну. Видимо, она не переставала ждать меня, продолжая терзаться по поводу произошедшего. Жанна действительно стало необыкновенно красивой девчонкой, вобрав в себя сразу несколько кровей, не часто смешивающихся друг с другом. Это одарило ее редким сочетанием пронзительно черных волос и ярко-голубых глаз, которое вкупе с матовой кожей и тонкими, прямыми, будто вычерченными по линейке чертами лица придавало ей и аристократизм, и благородство, и необыкновенную прелесть.

– Что случилось, Катерин?

Она не называла меня Катей, как бабушка, но и в отличие от многих моих знакомых не иронизировала по поводу злополучного имени.

Хотя мы объяснились в любви еще детьми, наверное, все-таки именно это побудило меня из всех девушек, оказывавших мне знаки внимания, выбрать именно ее. И никак не мог надивиться ее выбору. Со своей внешностью она почему-то предпочла меня многим десяткам парней, которые могли бы составить ей партию гораздо более достойную, и никогда не жалела о своем выборе.

– Так что же? – видя мое замешательство, спросила она гораздо настойчивей.

– Сейчас... Это непросто.

– Ты не в себе. Пойдем к нам.

Мы жили в домиках, называемых в нашем поселке «финскими». Говорят, их строили в войну финские пленные. Это были очень добротные одноэтажные коттеджи, имевшие два выхода – в сад и на улицу – имени, между прочим, Советской интеллигенции. Выходила она на легендарный магазин культтоваров, имевший любопытное свойство в канун ревизий сгорать, а потом восставать из пепла, как птица Феникс. В культтоварах, покупая нотные тетрадки, мы с Жанной и познакомились, удивившись, что мы соседи. С той поры этот дом стал едва ли не моим.

И сейчас я, в оцепенении развалившись на диване и чувствуя руку в ее ладонях, слышал ее требовательные слова:

– Объяснишь наконец?

– Кажется, она ревнует меня к тебе.

Жанна прикрыла рот рукой. То ли в недоумении, то ли в ужасе.

– Как такое может быть?

– Может, если ревнует... Говорит, что я двойник моего деда, и сегодня, когда мы пришли, она приняла меня за него.

Жанна разглядывала меня уже с сочувствием, как обычно смотрят на людей, у которых помутилось в голове.

– У вас есть его фотографии?

– Есть две-три... Только мне трудно судить. Они очень плохие... Да и дед уже в возрасте.

Теперь молчала Жанна. Она подошла к окну, настезь распахнула его и принялась жадно заглатывать все еще теплый воздух...

– И как нам теперь быть?

Вопрос застал меня врасплох, поскольку я пока не уточнил для себя место Жанны в этой раскладке и сейчас усиленно пытался определить его, а чтобы она ничего не поняла, глупо спросил:

– А что?

– Как что? Так ведь она теперь на порог меня не пустит.

Жанна, похоже, читала мои мысли.

– Ну, нет... Ты плохо знаешь бабушку.

Сказав это, я почувствовал, что сейчас, в эту минуту между нами троими затягивается узел, который не разрубить ни одному мечу. А Жанна уже сидела рядом, обняв меня за плечо:

– Мне не нравится, что портрет, на котором она изображена обнаженной, висит над твоим изголовьем...

Она неожиданно перескочила на другую тему, хотя и смежную, однако гораздо более сложную, и я уже вообще не знал, что сказать.

– Почему?

– Неужели не понимаешь?

Понимать-то я понимал, только хотелось знать, что думает Жанна.

– Мне кажется, портрет странным образом влияет на тебя, – наконец сказала она. Твоя бабушка очень хороша, гораздо лучше меня. И я чувствую это на себе. Мы давно уже как бы жених и невеста, но ты ведешь себя со мной совсем не так, как следовало бы жениху.

– А как следовало?

Это была уже фальшь. Объяснения не требовались. С того самого дня, когда я подсматривал за ней, купающейся в саду, мое отношение к давно повзрослевшей купальщице оставалось платоническим, и я скорее служил ей, как средневековый рыцарь... А ее робкие попытки привнести в наши отношения элементы чувственности почти не находили у меня отклика.

Я не понимал самого себя, поскольку девушки все сильнее волновали меня, но это было скорее какое-то отвлеченное, абстрактное волнение, которое никак не переходило на конкретный объект. И самое ужасное в том, что мне не с кем было этим поделиться. Отец, давно бросив альтистку (уже с ребенком), жил у арфистки, которую тоже умудрился обрюхатить, и встречался со мной крайне редко, чаще всего в процессе регулирования с бабушкой финансовых вопросов, связанных с моим содержанием. Он был жуткой занудой, раздражал меня, а чтобы обсуждать с ним темы повышенной деликатности, не могло быть речи вообще.

– Как? – переспросила Жанна. – Ну хотя бы поцеловать меня сейчас.

Я взял ее за плечи и поцеловал в обе щеки, а потом чмокнул в губы. Неловко, тушуясь, словно делал нечто такое, чего можно было стыдиться. Я и на самом деле жутко стыдился...

– Расстегни мне пуговицы на блузке, – сказала она, взяв меня за руку и подняв ее к своей шее.

Я неловко справился с верхней пуговицей, чувствуя, как в моей груди поднимается какая-то странная волна, жгучая и хмельная, и тут услышал голос бабушки:

– Катя! Ужинать...

Я заметил, как изменилась в лице Жанна. Она умела держать эмоции в узде, но сейчас это было выше ее сил.

– Не уходи!

– Не могу, я должен...

– Прощу тебя.

Казалось, эту минуту она ждала едва ли не всю жизнь... А я, напротив, вдруг почувствовал облегчение, словно снял с плеч груз огромной ответственности. Это было похоже на предательство, и тем не менее ноги уже вели меня к двери, в то время как глаза Жанны наполнялись слезами.

– Катерин, это нечестно.

Я все понимал и тем не менее уходил.

Бабушка уже ждала на кухне. Поначалу была сдержанна и деловита, ничто – ни в облике, ни в осанке, ни в выражении глаз, всегда таком красноречивом – не напоминало об эмоциональном взрыве, который сотряс ее всего несколько часов назад. Потом попыталась шутить, но я не отвечал на ее слова и сидел, тупо глядя в тарелку. Мы некоторое время молчали. Улыбка постепенно сползла с ее губ. Она побледнела, как бывало всегда, когда видела, что мне не по себе, потом подошла и мягко потрепала мой подбородок.

– Что-то не так, скажи?

Я знал, что лучше было бы сказать, но совсем не соображал, как это сделать, какие слова найти. Да и какие тут могут быть слова?

– Доверься мне, – сказала она, сев рядом.

И я доверился.

Глава 2

Мы выпивали по поводу моего семидесятилетия.

«Мы» – это мой сын Святослав с женой, дочь Гаянэ с мужем и сосед Тарас Теменюк, предложивший тост за появление старушки в моем доме. Я был уже в подпитии и в ответ наорал. Благо Вагифа с Натэлой не было. Натэлу этот тост наверняка бы потряс, а Вагиф мог бы и мордобой устроить. Они с Теменюком друг друга не выносят.

Без скандала, правда, не обошлось. Гаянэ именно в эту минуту вносила блюдо с долмой и от слов Тараса выронила супницу. Потом села на краешек стула, тут же оказалась на полу вслед за лакомством, составлявшим особую гордость ее кулинарии, и пошла рыдать, а ее муж и брат не нашли ничего лучше, как устроить ор.

Беременная дочь на полу – это было для меня чересчур, и перед моими глазами уже кружились черные мухи, предвещавшие гипертонический криз. Мы с Гаянэ острее других в семье переживали смерть Жанны, и не было даже единого мнения, отмечать ли мне круглую дату. Настояла именно она.

Дабы выпустить пар, я сказал Теменюку пойти вон. Это было, конечно, через край, и спустя минуту меня уже терзало, тем более что опасность криза миновала, а Тарас успел хлопнуть дверью. Это был недурной и безобидный человек, проработавший всю жизнь ветеринаром, но, боюсь, каждодневное общение со скотом повлияло на его душевные тонкости, хотя размолвка грозила мне дорого обойтись.

О себе я мог бы сказать словами Вооза Виктора Гюго:

Но вот я одинок, мой вечер подошел,
И, старец, я дрожу, как зимняя береза⁴.

Дети нынче нуждаются во мне все меньше, а если и нуждаются, то главным образом когда возникает потребность либо в деньгах, либо в протекции. Правда, есть еще внуки, но они достигли того возраста, когда уже не до дедушек. Что до Вагифа, забегает он теперь редко, и моей отрадой остается все тот же Теменюк.

Мы с ним увлекаемся шахматами, хотя играем, как два образцовых мухомора – просматриваем выигрыши, «зеваем» фигуры, не разрешаем перехаживать и дуемся друг на друга по всякой ерунде. Но главное, что нас объединяло – это прошлое. Оба мы остались в своем времени: на дух не принимаем многопартийность, свободные выборы и независимые СМИ, хотя справедливости ради должен признаться, что против рынка ничего не имеем ни я, ни он. Однажды в полемике с моим сыном (проиграв мне три партии подряд) Теменюк бросил, что посчитал бы за счастье выйти на Первомайскую демонстрацию с портретом Брежнева в руках. Когда Святослав ехидно полюбопытствовал, где бы он при этом поместил талон на 300 граммов вареной колбасы – на шее или на заду? – гордо ответил, что нет ничего более достойного для старика, чем защищать идеалы молодости. Жанна по такому делу даже заплодировала.

Сыном ни я, ни она довольны не были. Фортепианным дуэтом мы так и не стали (слишком уж разными оказались), но парня своего назвали в честь общего нашего кумира Святослава Рихтера, надеясь, что из отпрыска выйдет хотя бы профессионал. Увы... Закончив консерваторию с тройкой по специальности, он тотчас же оставил фортепиано, занявшись торговлей электроникой, а затем открыл собственную шарашку по продаже компьютеров, от которой меня пошло мутить с первого взгляда. С Жанной было еще хуже: переступив порог этой обитой фанерой и жестью лавочки, она тотчас пошла плакать, чего с ней не случалось уже давно.

⁴ Пер. Н. Рыковой.

Правда, добрая душа Гаянэ в тот день все-таки купила у брата (а брат, представьте, продал!) монитор, но в оценке деятельности Святослава нашу точку зрения разделила.

Трудно представить людей более различных, чем наши дети. Святослав, полагаю, если и пошел в кого-то в семье, то разве что в прапрадеда Богдана, чью страсть к коммерческой деятельности, возможно, унаследовал, хотя эффективность работы еще раз доказала, что страсть и талант к определенному виду деятельности не обязательно совместны. Он постоянно балансировал на краю долговой ямы, не выходил из круга скандалов с банками, не возвращая вовремя кредиты, и налоговыми органами, а главное никак не мог угнаться за конъюнктурой, проигрывая конкурентам и перманентно находясь на грани закрытия своего комка. Я без конца гадал, чем ему придется заниматься, если крах наконец произойдет, поскольку человеком он был безвольным и недалеким. Мог впасть в соблазн низкой оптовой цены и тотчас же затовариться, поскольку проницательный оптовик хитро сбрасывал ему партию компьютеров вчерашнего дня, да еще и грел руки на экономии от транспортировки, ибо наивный Святослав был в таком восторге от сделки, что брал эти расходы на себя. Подозреваю, коммерцией он вообще занялся – подобно, кстати, тысячам других сумасбродов начального этапа российского рынка – по невежеству, не имея ни малейшего представления об этой деятельности и привлеченный миражами легкого обогащения.

Больше всего меня удивляло, что его жена, красавица Сусанна, спокойно на это смотрела и даже вроде бы поощряла бездарные рыночные потуги супруга. Она была в этом магазине не только единственной продавщицей, но, как я начал подозревать, и единственной рекламной товара, поскольку, переступая порог «нашей хибары» (как говаривала Жанна), покупатели смотрели не столько на смартфоны, сколько на бюст смартфонщицы, который – надо отдать ему должное – был действительно достоин восхищения.

Как-то, прогуливаясь вечером и сильно отделившись от дома, я встретил ее идущей под руку с местным олигархом Тамерланом Тлеуховым, образцовым южным красавцем с мифическими чертами лица и белозубой улыбкой а ля Бельмондо. В победе этого плейбоя над Сусанной я не усомнился, как только увидел вместе, она же изобразила вид, что меня не замечает, а на следующий день позвонила и умильно напросилась в гости. Явившись с не свойственной ей точностью, она села напротив, забросив ногу на ногу и щедро одаряя меня бедрами, а потом, решив, видимо, что требуемый эффект достигнут, пошла канючить на предмет того, чтобы ничего худого не думать. Встреча с Тлеуховым имела, мол, место по заданию мужа и является частью коммерческой политики фирмы.

Я слушал с полным безразличием, хотя давно подозревал, что Святослав подкладывает жену под нужных людей, впрочем, не исключая, правда, возможности и варианта «самоподкладывания» при невмешательстве мужа, поскольку все сильнее убеждался, что в лавочке он является кем-то вроде свадебного генерала. Делами же по-настоящему рулила старшая на четыре года и гораздо житейски более искушенная Сусанна. Впрочем, все это меня не слишком беспокоило. Если мой сын постепенно превращается в сутенера, приманивая клиентов на жену, то это лишний раз свидетельствовало о том, что его фирма на грани банкротства.

В конце концов я потерял к ним интерес, а по существу ответил тем же, ибо уже давно эту парочку не интересовал.

После смерти Жанны я все чаще находил отдушину в Гаяне. Дни и ночи она проводила у моего изголовья, когда осознание кошмара вдовства, грядущего одиночества и безысходности, вызванное кончиной жены, сломило меня до такой степени, что последовал стресс чудовищной силы, и дочь, потрясенная смертью матери не меньше, чем я, ушла в отпуск, дабы ухаживать за отцом. Не знаю, как бы я выкарабкался, не будь ее рядом.

Лицом она не вышла и вообще не принадлежала к тем женщинам, которые интересуют мужчин. Была необщительной, вещью в себе и в компании, особенно многочисленной и шумной, чувствовала себя чуждой. Я опасался, что она останется одна, и даже пытался познако-

мить ее с сыном своего коллеги. Тем не менее замуж Гаянэ все-таки вышла и даже родила мальчика, чего я от нее, давно переступившей порог двадцатилетия, признаться, уже не ждал, и теперь была на сносях снова.

Как и Святослав (пусть никого не удивляют столь разные имена моих детей, этим мы с Жанной отдали дать многонациональному составу наших пращуров), она тоже занималась торговлей. Однако если сын был по этой части полным бездарем, то дочь, напротив, проявляла хватку, скорее свидетельствующую о реальном воздействии на нее владикавказских корней.

Возглавляла она общество с ограниченной ответственностью «Ностальгия», которая бережно хранила старые добрые традиции. Вместо модельных див покупателей встречали мордастые и грудастые богатырши в грязных халатах, наброшенных на телогрейки, из которых торчали комья ваты. Эту экзотику дополняли очереди, счеты, весы, допотопные гири и обилие самого разного хлама вроде разбитой деревянной тары и обрывков оберточной бумаги на грязном полу. Гаянэ призналась мне однажды, что прокручивала даже идею с талонами на колбасу, торжественно выдаваемыми магазином постоянным покупателям, но сочла это перебором.

Сей раритет размещался в гнилой деревянной хибаре, был окружен сетевыми колоссами и, казалось, обречен на гибель. Тем не менее «Ностальгия» не просто выживала, она процветала. Зарплата здесь была такова, что у сетевых див текли слюни от зависти. Они умоляли Гаянэ взять их на работу, но та и слышать не хотела о работницах, развращенных вежливым обслуживанием и цензурной лексикой. Контролирующие органы без конца ругали ее за колорит, но она держалась за него с цепкостью альпиниста, зависшего над пропастью. В результате у магазина был свой покупатель – едва ли не все алкоголики округа, которым не надо было, чтобы труженица прилавка спрашивала елейным сопрано – «что вам угодно?». Достаточно было визга «че рожу выставил, урод», а коли еще и ядреный матюжок добавит, то большего счастья и не надо. Если сетевые магазины открывались в девять, то «Ностальгия», предлагавшая огромный выбор водки и пива на любой кошелек и вкус, распахивала свои двери на час раньше. К этому времени вокруг магазина уже собиралась толпа страждущих, и за этот час Гаянэ со товарищи делала едва ли не всю дневную выручку.

Удивительнее всего, что весь этот рационализм причудливо сочетался в ней со склонностью к созерцательности, мистике и одиночеству. Она призналась мне как-то, что на могиле матери, где бывает в последнее время все чаще, обретает и успокоение, и свободу. Второй раз в моей жизни слово «свобода» прозвучало пристегнутым к смерти, причем не как освобождение от юдоли печалей земных, а как обретение независимости духа.

В первый раз нечто подобное сказала мне бабушка за два дня до кончины. Она очень долго разглядывала меня, потом вдруг сказала:

– Артур, если мне была дана возможность пережить самое радостное мгновение нашей жизни, я бы наверняка выбрала выставку.

Я со страхом подумал о ее рассудке, поскольку, похоже, у нее начиналось двоение образа.

– Я Катерин, бабушка.

– Да, конечно... Я просто оговорилась.

Помолчали.

– О какой выставке речь?

Судя по выражению ее лица, двоение у нее все-таки было, поскольку о выставке она собиралась сказать другому... И не кому-то, а конкретному лицу. Но теперь она говорила именно мне.

– У твоего деда персональная выставка все-таки была. Я не рассказывала тебе о ней, это мое и все минувшие годы было только со мной.

– Значит, не говори, – стараясь казаться равнодушным, сказал я, сгорая от любопытства.

– А вот вчера, увидев тебя пришедшим от Жанны, решила сказать.

Она помолчала, разглядывая свой портрет.

– Ведь это было написано им по моей просьбе.

– Что?

Мне показалось, я ослышался.

– А то, что я сама попросила его написать меня нагой, причем именно так, как он видел и воспринимал мою наготу.

Теперь молчал уже я, поскольку опасался, что одно мое неосторожное слово – и у нее пропадет желание быть откровенной.

– Сейчас уже не помню, кто эту выставку организовал, в ту пору в меценатах недостатка не было, и всем хотелось войти в историю если не прямо, то хотя бы так. Скорее всего, это был один из тех доброхотов, которые в ту пору в большом количестве вертелись вокруг художников, чтобы не упустить появления новой звезды.

Она помолчала видимо, собираясь с духом, а когда наконец заговорила, в ее голосе чувствовалась нечто искусственное, он казался слегка треснутым, так бывает, когда на адаптер ставят пластинку с трещинками, от чего звук подвергается некоторому искажению...

– Выставка проходила в помещении, арендуемом обществом любителей... коровьих желудков. Представь, были и такие... Эта компания собиралась на свои чревоугодия раз в месяц, а в периоды между сборищами помещение сдавалось и на вырученные деньги закупались субпродукты.

Она задумалась на мгновение, вспоминая.

– Было отобрано несколько десятков пейзажей, и Артур размещал их сам, не допустив к работе даже меня. В те дни он был настолько возбужден, что достаточно было одного неосторожного слова, чтобы он взорвался, как петарда. Такие его настроения я хорошо знала и охотно ушла на второй план. Выставка работала три дня, и интерес вызвала в целом небольшой. Однако русскоязычная газета, где он публиковал свои «переводы», поместила весьма доброжелательную рецензию, которую я так часто читала, что знала почти наизусть.

Сказав это, она прикрыла глаза и начала почти декламировать:

– Молодой художник Артур Погосов в своих работах удивительно тонко сочетает меланхолию, столь характерную для русского классического пейзажа, с эстетикой новой французской художественной школы. Это придает полотнам особый колорит, доселе почти не знакомый знатокам современной живописи, которые сулят даровитому плэнеристу большое будущее.

Она помолчала, потом начала говорить обыкновенно, словно выйдя из транс.

– Не знаю, благодаря этой заметке, или какому-то особому чутью, или просто из желания что-то купить, но картину «Стога в предместье Неаполя» приобрел какой-то местный промышленник, заплатив настолько щедро, что у Артура поначалу просто отвисла челюсть – таких денег ни я, ни он не видели отроду. В тот же день он снял на ночь для нас двоих небольшой ресторанчик на краю города, заплатив за это больше половины гонорара, и мы танцевали всю ночь. Были только он и я. Маленький оркестр играл для нас вальсы Штрауса. Твой дед не уставал шептать мне на ухо, что любит меня, а я чувствовала, как по моим щекам текут слезы, уже зная, что попрошу написать меня, когда мы вернемся в нашу мансарду.

Уже дома он, растерянно хлопая глазами, пытался убедить, что он пейзажист и у него не получится. «Получится, – сказала я. – Сегодня у тебя получится все».

И с этими словами разделась и села на подоконник.

– А что было дальше?

– Дальше? Ты видишь...

Она замолчала надолго, будто собиралась сказать мне нечто очень существенное, и то, что было наконец сказано ею, оказалось и правда очень важным; я по-прежнему ломаю себе голову над ее словами и не нахожу убедительного однозначного ответа.

– Ты не только его двойник лицом.

- Не понимаю...
- Ты это он вообще.
- По-прежнему не понимаю.
- В тебя вселилась его душа.

Бабушка сказала это совершенно обычно, будто сообщала, что сварила суп или пришла соседка, при этом взгляд ее был совершенно спокоен и даже умиротворен; создавалось впечатление, что она выполнила какую-то свою, только ей известную миссию и теперь чувствует себя свободной от обязательств.

- Отказываюсь понимать.

Мне все казалось, что я ослышался.

- Разве ты не слышал о переселении душ? – спросил она.

Бабушка вообще очень много читала; будучи гимназисткой, не пропускала ни одной премьеры МХАТа, собрала библиотеку, посвященную театру; благодаря ей я с детства знал имена Станиславского, Немировича-Данченко... Любимым ее драматургом был Ибсен, а его пьесу «Кукольный дом» она знала едва ли не наизусть. Но я даже подумать не мог, что она интересовалась мистикой. Это было время воинствующего материализма, я был комсомольцем и воспитывался в традициях твердолобого атеизма. Она тоже не была верующей, в церковь не ходила и никогда не говорила со мной на темы, имевшие малейшее отношение к религии, если они не были предметом книги или художественного полотна.

И все-таки о метемпсихозе я читал.

Это было на вечеринке моего приятеля Мирона Векслера, студента-филолога, родители которого – тоже лингвисты – были владельцами очень крупного и разномастного книжного собрания, размещавшегося в четырех комнатах квартиры старого, дореволюционного образца, с роскошной, покрытой причудливыми изразцами голландской печкой, просторными, украшенными отлитой из гипса лепниной комнатами, две из которых переходили в эркеры, и огромными чуланами, когда-то служившими помещениями для прислуги. Комнаты сверху донизу была забиты книгами в добротных, тисненых золотом переплетах крупнейших российских изданий начала прошлого века. В одну из этих комнат, спасаясь от шума, я и спрятался, сразу же начав шарить глазами по названиям фолиантов, и тотчас же мой взгляд нащупал тонкую книжонку под заглавием «Метемпсихоз». Имя автора ни о чем мне не говорило, и я его не запомнил. А название возбудило мое любопытство, поскольку мне неизвестно было, что это такое. Векслеры книг своих никому не давали и запретили делать это сыну. Поэтому я высвободил худенький томик из железных оков его соседок и начал читать.

Я узнал, что метемпсихоз это учение о переселении души умершего во вновь родившийся организм, причем не обязательно человека... Учение это очень старое. Оно присутствует в древних религиях, в учении Платона, который даже сформулировал четыре интуитивно-мистических доказательства бессмертия души. В книге подчеркивалось, что христианство отвергает веру в метемпсихоз, настаивая на одноразовости жизненного пути на земле.

Тогда мне все это представилось полнейшей ахинеей, я раздраженно захлопнул книжицу, несмотря обилие маргиналий на полях, и вскоре забыл о ней, но слова бабушки выудили рыбку из моей памяти, и теперь я усиленно соображал, что ответить. Но она лишила меня этой возможности новым откровением.

- Скоро я стану свободна, Катя...
- Опять не понимаю...
- Он придет и уведет меня за собой.
- Кто?
- Твой дедушка.

Тут я уже совсем не выдержал:

– Ты в своем уме?

Я понял, что был незаслуженно груб, и уже исполнился раскаянием, но она будто не слышала.

– Не перебивай. На днях он поведет меня за собой. Пойдем, я хочу что-то показать тебе...

Бабушка взяла меня за руку и повела в свою комнату, где мне крайне редко доводилось бывать, ибо она, по ее словам, очень дорожила своими частными владениями и ревностно следила за тем, чтобы их не нарушали. Это была маленькая светелка, увешенная старыми фотографиями и поздравительными открытками, среди которых преобладали мои и ее внучатой племянницы Софьи, жившей в Елабуге. А над всем этим высился портрет мамы, сделанный очень известным в свое время фотографом с его монограммой и вправленный в роскошный багет. Когда я бывал здесь, всегда смотрел на этот портрет, пытаюсь найти в нем наше семейное сходство, и неизменно терпел неудачу, поскольку ее лицо было очень индивидуально, и если оно и сохранило какие-то фамильные черты, то разве что выражение вызова в глазах, доставшееся скорее от матери. Я все время пытался узнать, какой она была. Но бабушка крайне неохотно говорила о ней, повторяя, что это святая боль, и винила в ее безвременном уходе моего отца, которого ненавидела – и за смерть дочери, и за женщин, которые появились позже, и за легкость в мыслях, и за тысячи других прегрешений. Однажды, правда, она в порыве откровения рассказала, как противилась замужеству дочери, поскольку «все мерзости твоего будущего папочки» были видны еще на этапе ухаживания, но он был чертовски красив, к тому же еще и музыкант, к несчастью, а таким большинство женщин готовы простить все, даже маленькую зарплату.

– Я, между прочим, тоже музыкант, – заметил я.

– Ты совсем другое дело, – возразила она с такой убежденностью, что я не осмелился развивать тему.

Сейчас самое время было вернуться к ней, однако бабушка решительно подошла к секретеру и отперла нижний шкафчик, который был для меня чем-то вроде ящика Пандоры. Если она и открывала его, то доставала оттуда всякие неожиданности вроде колоды карт Таро, сборника стихов Д'Аннунцио на итальянском языке (которым владела весьма прилично) и единственную фотографию неаполитанского периода, где она запечатлена с дедом. Снимок был показан мне только раз и очень давно, и как я ни просил, больше его не видел. Сейчас, когда я гнусь под тяжестью лет, мне ясно, что он был только для нее, а тогда я склонен был скорее разделить распространенную точку зрения о ее трудно-предсказуемом характере. В памяти сохранились только детали фотки. Дед был в светлом костюме и в рубашке со стоячим воротничком, а бабушка в длинном белом платье по тогдашней моде и в шляпке с эгреткой. Она держала мужа под руку и улыбалась в объектив. Эта улыбка и запомнилась мне больше всего. Счастливее бабушки в тот день не было никого.

Я уже было собрался просить ее показать снимок еще раз, дабы удостовериться, что являюсь двойником деда, но она даже не позволила мне открыть рот.

– Смотри...

Заглянув в шкафчик, я увидел небольшую кучку посуды, которая прямо таки искрилась под светом яркой настольной лампы. Поначалу я решил, что это лишнее всякой логики собрание металлической кухонной утвари, и уже хотел сказать об этом, как в моей голове вдруг начало светать. Логика в нагромождении таки имелась, только уж больно старомодным оно казалось.

– Может, объяснишь? – попросил я, боясь сморозить глупость.

– Это золотой кофейный сервиз конца восемнадцатого века, Катя.

Я взгляделся. Шесть причудливых маленьких чашечек с замысловатым восточным орнаментом сопровождал пузатый кофейник, украшенный арабской вязью и искусной крышечкой на пружинке, которую следовало привести в действие легким щелчком большого пальца, оттал-

кивая его от указательного, и сахарница вместе с молочницей – обе с причудливой эмалью, напоминавшей финифть и изображавшей газель, преследуемую охотником на скакуне.

– Откуда это у тебя?

– Твой прадед Богдан подарил, когда мы уезжали из Владикавказа. В лихие времена сервиз покоился в земле, а совсем недавно, а точнее вчера, я его откопала.

– Почему?

– Я же тебе сказала, что умру на днях... Не перебивай. С моим уходом некому будет выбивать средства на твоё образование. А тебе ещё больше года учиться. Продашь часть сервиза и получишь деньги, чтобы окончить консерваторию.

– Бабуля! – Я был так ошарашен этим предложением, что назвал её так, как никогда не позволял себе.

– Молчи, такова моя воля.

– Тогда почему ты сама его не продала?

– Потому что лишь вчера знак получила. Не успеть...

– Ты что, серьёзно это?

– Да...

Я так и не исполнил её волю. Сервиз остался дома. А жил я стипендией и репетиторством. Бабушка оказалась права. Отец был уже с виолончелисткой, а скрипачке и альтистке платил алименты. Ему было уже совсем не до меня, что, кстати, было гораздо лучше, чем если он обо мне помнил, поскольку отцовские порывы чаще всего заканчивались какой-нибудь ерундой.

Когда была жива Жанна, сервиз выставляли по торжественным случаям, чаще всего на очередную годовщину нашей свадьбы. Оставшись один, я запер его на несколько замков и носил ключи исключительно при себе, а очередное появление сына воспринимал как сигнал тревоги, ибо пару месяцев назад он будто бы ненароком поинтересовался семейными чашечками. А в канун моего юбилея Сусанна и вообще заметила, что по такому делу можно было кофе из золота попить.

– Нам достаточно вас, золотко, – грубо сострил я.

«Золотко» надулось.

И была права...

Что до опасений за судьбу сервиза, они полностью подтвердились.

Глава 3

На следующий после юбилея день Теменюк явился с извинениями, был невероятно заискивающ и оттого шамкал еще сильнее. Долго не решался войти, стоял в дверях и делал попытки замиричься сразу, но я так переволновался из-за Гаянэ, что не мог на него смотреть без дрожи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.